

29.296 К

СКВОЗЬ

Павел Коган

Михаил Кульчицкий

Николай Майоров

Николай Отрада

ВРЕМЯ


Павел Коган

Михаил Кульчицкий

Николай Майоров

Николай Отрада

Советский писатель Москва 1964



СКВОЗЬ **ВРЕМЯ**

Стихи поэтов и воспоминания о них

Кр 29296

Р 2
С 42

Эта книга посвящена четырем молодым поэтам, героически погибшим в боях за Родину.

Вместе с произведениями Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова и Николая Отрады в книге — воспоминания о них, написанные их друзьями и сверстниками, их учителями. Поэтическое дарование Когана, Кульчицкого, Майорова и Отрады проявилось рано и ярко. Стихи каждого из них глубоко индивидуальны, но есть нечто объединяющее их — это высокий романтический пафос, устремленность в будущее, неистребимая вера в коммунизм.

Именно поэтому эти стихи, написанные почти четверть века назад, и сегодня звучат современно и сильно.

Произведения Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова и Николая Отрады были собраны и представлены к изданию Д. Б. Коганом, О. В. Кульчицкой, В. Н. Болховитиновым, В. С. Жуковым и К. Ф. Турочкиным.

Составитель книги — В. А. Швейцер.



* * *

В XIX веке ритм жизни был неторопливым: люди ездили на перекладных и писали скрипучими перьями; может быть, поэтому они рано складывались—у них было время, чтобы задуматься. Лермонтову было двадцать семь лет, когда он умер, Петефи и Китсу— двадцать шесть, а все произведения Рембо написаны до того, как ему исполнилось девятнадцать лет. Годы, когда формировались поэты, стихи которых собраны в этой книге, были громкими, и люди формировались медленно.

*...Империализм, Антанта, рикши,
Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру...*

*.
Нас честность наша до рассвета
В тревожный выводила свет...*

Нельзя читать стихи Когана, Кульчицкого, Майорова, Отрады без волнения: это первая страница, вырванная из книги, а продолжения мы никогда не узнаем.

Конечно, в стихах поэтов, умерших слишком рано, много незрелого, голос только становился, порой видны тени менявшихся учителей — Маяковского, Хлебникова, Багрицкого, Пастернака. Однако я читал и перечитывал стихи четырех поэтов, погибших на фронте, четырех сверстников и друзей, и все время думал: какая хорошая, большая книга! Дело не только в том, что отдельные строки Кульчицкого и Когана совершенны, достойны зрелых поэтов. Перед нами поэтическая исповедь поколения. Мертвые о нем рассказали ярче тех, что выжили, может быть потому, что мертвые остаются молодыми.

Стихи четырех авторов в одной книге должны были бы производить впечатление разноголосицы, тем более что поэты не похожи один на другого. О каждом из них читатель узнает из воспоминаний товарищей, сверстников, однокашников. (Я их мало знал. В моей записной книжке сохранилась короткая пометка: 30 апреля 1941 года я встретился со студентами Литинститута и записал фамилии некоторых.) Разными они были по природе и писали по-разному. А книга кажется написанной одним автором: те же волнения, те же надежды, и жизнь оборвана той же фронтовой смертью.

Молодым поэтам начала шестидесятых годов стоит задуматься над судьбой предшествующего поколения: ведь дети слишком легко отворачиваются

от отцов. А их отцы стояли насмерть под Москвой или у Волги: у них были крылья.

Они как бы предвидели свою судьбу. Майоров писал:

Когда умру, ты отошли
Письмо моей последней тетке,
Зипун нестираный, обмотки
И горсть той северной земли,
В которой я усну навек.

Вот предчувствия Кульчицкого:

Наши будни не возьмет пыльца.
Наши будни—это только дневка,
Чтоб в бою похолодеть сердцам,
Чтоб в бою нагрелися винтовки.

Это не „мужская отвага“, обязательная для Киплинга и его подражателей, а подлинное мужество. О нем говорил Коган:

Мое поколение—

это зубы сожми и работай,

Мое поколение—

это пулю прими и рухни.

Если соли не хватает—

хлеб намочи потом,

Если марли не хватает—

портянкой замотай тухлой.

Кто знает, как сложилась бы поэтическая судьба четырех юношей? Куда шагнул бы Кульчицкий, расставшись и с Востоком Хлебнинова и с нарочитой громкостью, заимствованной у Маяковского? Я его помню, он сразу привлекал к себе внимание, да и дар ему был отпущен большой. Стихи Когана глубоки, в них мысли взрослого человека. Может быть, он занялся бы и прозой?.. Кто знает, в каком направлении развилось бы творчество Майорова и Отрады, так рано погибших? Больно и горько думать, как война истоптала начинавшую колоситься ниву русской поэзии. Горе испытываешь и гордость: такими вдохновенными, смелыми и по-человечески хорошими встают перед нами четыре погибших поэта. Я как читатель им бесконечно благодарен.

1962

Илья Эренбург

* * *

П

еребирая наши даты,
Я обращаюсь к тем ребятам,
Что в сорок первом шли в солдаты
И в гуманисты в сорок пятом.

А гуманизм не только термин,
К тому же, говорят, — абстрактный.
Я обращаюсь вновь к потерям,
Они трудны и безвозвратны.

Я вспоминаю Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
Я сам теперь от них завишу,
Того порою не желая.

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.

А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.

И вроде день у нас погожий,
И вроде ветер тянет к лету...
Аукаемся мы с Сережей,
Но леса нет и эха нету.

А я все слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая.
Я говорю про Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.

НИКОЛАЙ МАЙОРОВ

В

1947 году в вестибюле МГУ я увидел рослого, с открытым лицом, с развевающимися волосами студента и вздрогнул: он был очень похож на Колю Майорова. Сходство это длилось только мгновенье. Пронзила мысль: невозвратные есть потери. Невозможно возратить человека из земли. И только образ его остается, вечно живой, в нашей душе. Я не видел Колю Майорова мертвым. Только знаю рассудком, что он погиб, а сердцем представить не могу его неживым.

Он таким и остался в моей памяти — высокий, сильный, добрый, со зрением, я бы сказал, цветным. Как цветное кино. Он густо воспринимал жизнь, мир в его стихах вставал объемным, весомым, зримым, цветным. Остались от него недописанные поэмы, стихи, строки, осколки таланта. Но

и сейчас неподдельной юностью и свежестью восприятия мира веет от этих стихов. До сих пор я люблю повторять его живые строки:

Что услышишь в ночь такую?
То ли влага бьет в суку,
То ль тетерева токуют
В ночь такую на току.

И многие, многие строки, живые, молодые, с языческим восприятием жизни, остались от Коли Майорова.

Говорят, что в 1914 году в первые недели войны во Франции погибло 300 поэтов. Триста поэтов! Это не укладывается в сознании! А сколько поэтов унесла вторая мировая! Блистательно начинали свой поэтический путь Коля Майоров, Миша Кульчицкий, Павел Коган, Коля Отрада, Арон Копштейн. Все, что осталось от них, дорого до боли. В них черты нашей юности, облик наших друзей, погибших на войне, но живущих в наших сердцах.

От Коли Майорова осталось много стихов. Мы должны напечатать все его лучшее. Это будет нашей признательностью, признательностью живых тем, кто своей жизнью отстоял жизнь для всех.



НИКОЛАЙ МАЙОРОВ

АВГУСТ

Я

полюбил весомые слова,
просторный август, бабочку на раме
и сон в саду, где падает трава
к моим ногам неровными рядами.

Лежать в траве желтеющей у вишен,
у низких яблонь, где-то у воды,
смотреть в листву прозрачную
и слышать,
как рядом глухо падают плоды.
Не потому ль, что тени не хватало,
казалось мне, вселенная мала!
Движения замедленны и вялы,
во рту иссохло. Губы как зола.
Куда девать сгорающее тело!
Ближайший омут светел и глубок,

пока трава на солнце не сгорела,
войти в него всем телом до предела
и ощутить подошвами песок!
И в первый раз почувствовать так близко
прохладное спасительное дно.
Вот так, храня стремление одно,
вползают в землю щупальцами корни,
питая щедро алчные плоды
(а жизнь идет!), — все глубже и упорней
стремление пробиться до воды,
до тех границ соседнего оврага,
где в изобилье, с запахами вин,
как древний сок, живительная влага
ключами бьет из почвенных глубин.
Полдневный зной под яблонями тает
на сизых листьях теплой лебеды.
И слышу я, как мир произрастает
из первозданной матери — воды.

1939

ВЗГЛЯД В ДРЕВНОСТЬ

Там — мрак и гул. Обломки мифа
Но сказку ветер окрылил:
Кровавыми руками скифа
Хватали зори край земли.

Скакали взмыленные кони,
Ордой сменялася орда.
И в этой бешеной погоне
Боялись отставать года...

И чудилось — в палящем зное
Коней и тел под солнцем медь
Не уставала над землею
В века событиями греметь.

Менялось все: язык, эпоха,
Колчан, кольчуга и копье.
И степь травой-чертополохом
Позарастала до краев.

...Остались пухлые курганы,
В которых спят богатыри,
Да дней седые караваны
В холодных отблесках зари.

Ветра шуршат в высоких травах,
И низко клонится ковыль.
Когда про удаль Станислава
Ручей журчит степную быль —

Выходят витязи в шеломах,
Скликают воинов в набег.
И долго в княжеских хоромах
С дружиной празднует Олег.

А в полночь скифские курганы
Вздымают в темь седую грудь.
Им снится, будто караваны
К востоку держат долгий путь.

Им снятся смелые набеги,
Стенанья, смерть, победный рев,
Что где-то рядом печенеги
Справляют тризны у костров.

Там — мрак и гул. Обломки мифа.
Простор бескрайний, ковыли...
Глухой и мертвой хваткой скифа
Хватали зори край земли.

1937

* * *

Когда умру, ты отошли
письмо моей последней тетке,
зипун нестираный, обмотки
и горсть той северной земли,
в которой я усну навеки,
метаясь, жертвуя, любя
все то, что в каждом человеке
напоминало мне тебя.
Ну а пока мы не в уроне
и оба молоды пока,
ты протяни мне на ладони
горсть самосада-табака.

ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ

Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать — вслепую.
Идти и падать. Бить челом
и все ж любить ее — такую!
Забыть про дом и сон,
про то, что
твоим обидам нет числа,
что мимо утренняя почта
чужое счастье пронесла.
Забыть последние потери,
вокзальный свет,
ее «прости»
и кое-как до старой двери,
почти не помня, добрести.
Войти, как новых драм зачатые.
Нащупать стены, холод плит...
Швырнуть пальто на выключатель,
забыв, где вешалка висит.
И свет включить. И сдвинуть полог
крамольной тьмы. Потом опять
достать конверты с дальних полок,
по строчкам письма разбирать.
Искать слова, сверяя числа.
Не помнить снов. Хотя б крича,
любой ценой дойти до смысла,
понять и сызнова начать.
Не спать ночей, гнать тишину из комнат,
сдвигать столы, последний взять редут,
и женщин тех, которые не помнят,

обратно звать, и знать, что не придут.
Не спать ночей, недосчитаться писем,
не чтить посулов, доводов, похвал
и видеть те неснившиеся выси,
которых прежде глаз не досягал, —
найти вещей извечные основы.
Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать ее.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
уйти, забыть и возвратиться снова,
моя любовь, могущество мое.

1939

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Неужто мы разучимся любить
и в праздники, раскинувши диваны,
начнем встречать гостей и церемонно пить
холодные кавказские нарзаны!

Отяжелеем. Станет слух наш слаб.
Мычать мы будем вяло и по-бычьи.
И будем принимать за женщину мы шкаф
и обнимать его в бесполом безразличьи.

Цепляясь за разваленный уют,
мы в пот впадем, в безудержное мленье.
Кастратами потомки назовут
стареющее наше поколенье.

Без жалости нас время истребит.
Забудут нас. И до обиды грубо
над нами будет кем-то вбит
кондовый крест из тела дуба.

За то, что мы росли и чахли
в архивах, в мгле библиотек,
лекарством руки наши пахли
и были бледны кромки век.

За то, что нами был утрачен
сан человеческий; что, скопцы,
мы понимали мир иначе,
чем завещали нам отцы.

Нам это долго не простится,
и не один минует век,
пока опять не народится
забытый нами Человек.

ГОГОЛЬ

...А ночью он присел к камину
и, пододвинув табурет,
следил, как тень ложилась клином
на мелкий шашечный паркет.

Она росла и, тьмой набухнув,
от желтых сплюснутых икон
шла коридором, ведущим в кухню,
и где-то там терялась. Он
перелистал страницы снова
и бредить стал. И чем помочь,
когда, как черт иль вий безбровый,
к окну снаружи липнет ночь,
когда кругом — тоска безлюдья,
когда — такие холода,
что даже мерзнет в звонком блюде
вечор забытая вода!

И скучно, скучно так ему
сидеть, в тепло укрыв колени,
пока в отчаянном дыму,
дрожа и корчась в испуге,
кипят последние поленья.

Он запахнул колени пледом,
рукой скользнул на табурет,
когда, очнувшись от бреда,
нащупал глазом слабый свет

в камине. Сердце было радо
той тишине. Светает — в пять.
Не постучавшись, без доклада
ворвется в двери день опять.

Вбегут докучливые люди,
откроют шторы, и тогда
все в том же позабытом блюде
чуть вздрогнет кольцами вода.

И с новым шорохом единым
растает на паркете тень,
и в оперенье лебедином
у ног ее забьется день...

Нет, нет — ему не надо света!
Следить, как падают дрова,
когда по кромке табурета
рука скользит едва-
едва...

В утробе пламя жажду носит
заметить тот порыв один,
когда сухой рукой он бросит
рукопись в камин.

...Теперь он стар. Он все прощает
и, прослезясь, глядит туда,
где пламя жадно поглощает
листы последнего труда.

ТВОРЧЕСТВО

Есть жажда творчества,
уменье созидать,
на камень камень класть,
вести леса строений.
Не спать ночей, по суткам голодать,
вставать до звезд и падать на колени.
Остаться нищим и глухим навек,
идти с собой, с своей эпохой вровень
и воду пить из тех целебных рек,
к которым прикоснулся сам Бетховен.
Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,
весь мир вместить в дыхание одно,
одним мазком весь этот лес и камни
живыми положить на полотно.
Не дописав,
оставить кисти сыну,
так передать цвета своей земли,
чтоб век спустя все так же мяли глину
и лучшего придумать не смогли.
А жизнь научит правде и терпению,
принудит жить, и прежде чем стареть,
она заставит выжать все уменье,
какое ты обязан был иметь.

ДЕД

Он делал стулья и столы
и, умирать уже готовясь,
купил свечу, постлал полы
и новый сруб срубил на совесть.
Свечу поставив на киот,
он лег поблизости с корытом
и отошел. А черный рот
так и остался незакрытым.
И два громадных кулака
легли на грудь. И тесно было
в избенке низенькой, пока
его прямое тело стыло.

РОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА

Приду к тебе и в памяти оставляю
застой вещей, идущих на износ,
спокойный сон ночного Ярославля
и древний запах бронзовых волос.
Все это так на правду не похоже
и вместе с тем понятно и светло,
как будто я упрямее и строже
взглянул на этот мир через стекло.

И мир встает — столетье за столетьем,
и тот художник гениален был,
кто совершенство форм его заметил
и первый трепет жизни ощутил.
И был тот час, когда, от стужи хмурый,
и грубый корм свой поднося к губе
и кутаясь в тепло звериной шкуры,
он в первый раз подумал о тебе.

Он слушал ветра голос многоустый
и видел своды первозданных скал,
влюбляясь в жизнь, он выдумал искусство
и образ твой в пещере изваял.
Пусть истукан массивен был и груб
и походил скорей на чью-то тушу,
но человеку был тот идол люб:
он в каменную складку губ
все мастерство вложил свое и душу.
Так, впроголодь живя, кореньями питаюсь,
он различил однажды неба цвет.

Тогда в него навек вселилась зависть
к той гамме красок. Он открыл секрет
бессмертья их. И где б теперь он ни был,
куда б ни шел, он всюду их искал.
Так, раз вступив в соперничество с небом,
он навсегда к нему возревновал.
Он гальку взял и так раскрасил камень,
такое людям бросил торжество,
что ты сдалась, когда, припав губами
к его руке, поверила в него.
Вот потому ты много больше значишь,
чем эта ночь в исходе сентября.
Мне даже хорошо, когда ты плачешь,
сквозь слезы о прекрасном говоря.

* * *

Мне только б жить и видеть росчерк грубый
твоих бровей и пережить тот суд,
когда глаза солгут твои, а губы
чужое имя вслух произнесут.

Уйди, но так, чтоб я тебя не слышал,
не видел, чтобы, близким не грубя,
я дальше б жил и подымался выше,
как будто вовсе не было тебя.

* * *

Как жил, кого любил, кому руки не подал,
с кем дружбу вел и должен был кому —
узнают всё, раскроют все комоды,
разложат дни твои по одному.

* * *

Я с поезда. Непроспанный, глухой.
В кашне, затянутом за пояс.
По голове погладь меня рукой,
примись ругать. Обрато шли на поезд.
Грозись бедой, невыгодой, концом.
Где б ни была ты — в поезде, вагоне, —
я все равно найду,
уткнусь лицом
в твои, как небо, светлые
ладони.

ВЕСЕННЕЕ

Я шел веселый и нескладный,
почти влюбленный, и никто
мне не сказал в дверях парадных,
что не застегнуто пальто.

Несло весной и чем-то теплым,
а от слободки, по низам,
шел первый дождь,
он бился в стекла,
гремел в ушах,
слепил глаза,
летел,
был слеп наполовину,
почти прямой. И вместе с ним
вступала боль сквозная в спину
недомоганием сплошным.

В тот день еще цветов не знали,
и лишь потом на всех углах
вразбивку бабы торговали,
сбивая радость второпях.
Ту радость трогали и мяли,
просили взять,
вдыхали в нос,
на грудь прикладывали,
брали
поштучно,
оптом
и вразнос.

Ее вносили к нам в квартиру,
как лампу, ставили на стол, —
лишь я один, должно быть, в мире
спокойно рядом с ней прошел.

Я был высок, как это небо,
меня не трогали цветы, —
я думал о бульварах, где бы
мне встретилась случайно ты,
с которой я лишь понаслышке,
по первой памяти знаком, —
дорогой, тронутой снежком,
носил твои из школы книжки...

Откликнись, что ли!
Только ветер
да дождь, идущий по прямой...
А надо вспомнить —
мы лишь дети,
которых снова ждут домой,
где чай остыл,
черствеет булка...
Так снова жизнь приходит к нам
последней партой,
переулком,
где мы стояли по часам...

Так я иду, прямой, просторный,
а где-то сзади, невпопад,
проходит детство и валторны
словами песни говорят.

Мир только в детстве первозданен,
когда, себя не видя в нем,
мы бредим морем, поездами,
раскрытым настежь в сад окном,
чужою радостью, досадой,
зеленым льдом балтийских скал
и чьим-то слишком белым садом,
где ливень яблоки сбивал.

Пусть неуютно в нем, неладно,
нам снова хочется домой,
в тот мир простой, как лист тетрадный,
где я прошел, большой, нескладный
и удивительно прямой.

ПАМЯТНИК

Им не воздвигли мраморной плиты.
На бугорке, где гроб землей накрыли,
как ощущение вечной высоты
пропеллер неисправный положили.

И надписи отгранивать им рано —
ведь каждый, небо видевший, читал,
когда слова высокого чекана
пропеллер их на небе высекал.

И хоть рекорд достигнут ими не был,
хотя мотор и сдал на полпути, —
остановись, взгляни прямее в небо
и надпись ту, как мужество, прочти.

О, если б все с такою жаждой жили!
Чтоб на могилу им взамен плиты
как память ими взятой высоты
их инструмент разбитый положили
и лишь потом поставили цветы.

* * *

Тогда была весна. И рядом
с помойной ямой на дворе
в простом строю, равняясь на дом,
мальчишки строились в каре
и бились честно. Полагалось
бить в спину, грудь, еще — в бока.
Но на лицо не подымалась
сухая детская рука...

А за рекою было поле, —
там, сбившись в кучу у траншей,
солдаты били и кололи
таких же, как они, людей.
И мы росли, не понимая —
зачем туда сошлись полки:
неужли взрослые играют,
как мы сходясь на кулаки!
Война прошла. Но нам осталась
простая истина в удел,
что у детей имелась жалость,
которой взрослый не имел.
А ныне вновь война и порох
вошли в большие города
и стала нужной кровь, которой
мы так боялись в те года.

1939

МЫ

Это время

трудновато для пера.

(Маяковский)

Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет, не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
потомок различит в архивном хламе
кусок горячей, верной нам земли:
где мы прошли с обугленными ртами
и мужество как знамя пронесли.

Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
железом обозначены следы, —
так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жен!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
где нашей жизни ход изображен.

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах читаете, как миф,
о людях, что ушли, не долюбив,
не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
крутых путей к последней высоте,

мы б сохранились в бронзовых ваянях,
в столбцах газет, в набросках на холсте.

Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
тянули воду полными глотками.
И в женщину влюблялись не спеша.

И шли вперед и падали, и, еле
в обмотках грубых ноги волоча,
мы видели, как женщины глядели
на нашего шального трубача,
а тот трубил, мир ни во что не ставя
(ремень сползал с покатога плеча),
он тоже дома женщину оставил,
не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень тверд, уступы каменисты,
почти со всех сторон окружены,
глядели вверх — и небо было чисто,
как светлый лоб оставленной жены.

Так я пишу. Пусть неточны слова,
и слог тяжел, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда зноем выпрямила губы.

Мир, как окно, для воздуха распахнут,
он нами пройден, пройден до конца,

и хорошо, что руки наши пахнут
угрюмой песней верного свинца.

И как бы ни давили память годы,
нас не забудут потому вовек,
что, всей планете делая погоду,
мы в плоть одели слово «человек»!

1940

* * *

Нам не дано спокойно сгнить в могиле, —
Лежать навтыяжку и приоткрыв гробы, —
Мы слышим гром предутренной пальбы,
Призыв охрипшей полковой трубы
С больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам! Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

ДАНИИЛ

ДАНИН

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ МАЙОРОВА

К

то-то сказал о встречах военных лет: «И незабываемое забывается». Это невесело, но правда. Однако правда и другое: когда незабываемое вспоминается, оно оживает для нас во всей своей первоначальной цельности и неповторимости. Это оттого, что оно тайно живет в наших душах, не изменяясь с годами: завершенное, оно уже не может измениться.

Больше двух десятилетий прошло с тех пор, как университетские друзья Николая Майорова расстались с ним, не простившись. Они уже никогда с ним не увидятся. Исправить тут ничего нельзя. Этому сроку предстоит только увеличиваться. Но законы перспективы, не нарушимые в пространстве, к счастью, могут нарушаться во времени. Отдаляясь, образ Коли Майорова не

уменьшается и не тускнеет. А то, что стирается в памяти, на-верное, никогда и не было существенным.

Я познакомился с Колей Майоровым за три года до Великой Отечественной войны — в мирную пору, когда увлеченные литературой студенты Московского университета объединились в литгруппу. Как всегда и во всех юношеских литературных объединениях, там, конечно, господствовали лирики.

Удивительное дело: во все времена повторяется одно и то же: молодые поэты, ищущие себя и жаждущие понимания, находят других, себе подобных, таких же ищущих и жаждущих, по незримому и неслышному пеленгу, который неведом посторонним. (Так в человеческом водовороте столицы любые коллекционеры каким-то образом вылавливают других коллекционеров — по случайному слову, по жесту, что ли, по оценивающему взгляду...) Когда осенью 1938 года в одном из старых университетских зданий на улице Герцена студенческая литгруппа собралась на первое регулярное занятие, Коля Майоров был незаметен в пестрой аудитории. Но почему-то все уже что-то знали друг о друге, и больше всего именно о Майорове. Будущие биологи и географы, химики и математики, физики и историки читали свои стихи. И помню, как из разных углов раздавались уверенные голоса:

— Пусть почитает Майоров, истфак!

Но он смущенно отнекивался — то ли от робости, то ли от гордыни. Казалось, он примеривается к чужим стихам, звучащим в аудитории, мысленно сравнивает их со своими, выбирает — «что прочесть?» Наконец он вылез из-за студенческого стола, встал где-то сбоку и начал читать.

Крепко стиснутым кулаком он, этот «Майоров, истфак», словно бы расчищал живой мысли стихотворения прямую дорогу через обвалы строк. И к концу того первого вечера стало очевидно со всей несомненностью: это будет «первая ракетка» в поэтической команде университета.

Не для традиционного сопоставления скромности и таланта упомянул я, что Николай Майоров был незаметен в пестрой толпе участников университетского литобъединения. Просто захотелось вспомнить, как он выглядел, каким показался в минуту знакомства. Совсем недавно, через столько лет после той поры, один ныне здравствующий поэт уверял меня, что Коля Майоров был высоким красавцем. Это легко объяснимая aberrация памяти. Я разубеждал поэта, а потом пожалел, что так старался. В воображении поэта жил образ Майорова, я же рассказывал ему про облик своего старого приятеля. А это разные вещи, и они не обязаны совпадать.

Коля Майоров поразительно не был похож на стихотворца, как не был похож на «служителя муз» поэт божьей милостью Николай Заболоцкий. Ничего завидного во внешности — ничего впечатляющего, что заставило бы на улице оглянуться прохожего. (Швейцары в гостиницах — вот из кого вербоваться бы академиком, полководцем, поэтам!..) Может быть, это экономная природа не наделяет истинное достоинство лишними одеждами — они ведь ему не нужны... Впрочем, это сомнительный закон — слишком много из него исключений. Но Коля Майоров был выразительнейшим его подтверждением.

Нет, он не был скромен:

Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.

Он знал, что он — поэт. И, готовясь стать историком, утверждал себя прежде всего как поэт. У него было на это право.

Как все юноши, он много писал о любви. Но в отличие от большинства начинающих лириков он размышлял о ней не мечтательно и бесплотно, а требовательно, жарко и даже зло. Не столь важно искать для этого объяснения — гораздо существенней уви-

деть в этом первый и самый доказательный намек на своеобразие поэтического видения жизни, какое свойственно было Майорову.

Пусть люди думают, что я трамвая жду.
В конце концов, — кому какое дело,
Что девушка сидит в шестом ряду
И равнодушно слушает Отелло?

.
Как передать то содроганье зала,
Когда не вскрикнуть было бы нельзя?
Одна она с достоинством зевала,
Глазами вверх на занавес скользя.

Ей не понять Шекспира и меня...

Немногие отважились бы на такую строку. Но талант — это смелость. И всю молодую отвагу своего сердца и своего ума Майоров тратил не на маленькую поэтическую фронду против внешне традиционных форм стиха — фронду, которая часто оказывается единственной доблестью начинающих, а на поиски своего «угла зрения», своего понимания прекрасного.

Как все юноши на пороге начинающейся зрелости, он много думал и писал о смерти (так устроен человек!). Но в отличие от большинства философствующих юнцов он размышлял о ней не меланхолически-печально и тревожился не о бренности всего земного, а искал в этой теме мужественное утверждение жизни, героическое начало, бессмертие человеческого творчества и труда.

Им не воздвигли мраморной плиты.
На бугорке, где гроб землей накрыли,
как ощущение вечной высоты
пропеллер неисправный положили.

.
О, если б все с такою жаждой жили!
Чтоб на могилу им взамен плиты
как память ими взятой высоты
их инструмент разбитый положили
и лишь потом поставили цветы.

Внешне незаметный, он не был тих и безответен. Он и мнения свои защищал, как читал стихи: потрясая перед грудью кулаком, чуть вывернутым тыльной стороной к противнику, точно рука несла перчатку боксера. Он легко возбуждался, весь розовея. Он не щадил чужого самолюбия и в оценках поэзии бывал всегда резко определен. Он не любил в стихах многоречивой словесности, но обожал земную вещность образа. Он не признавал стихов без летящей поэтической мысли, но был уверен, что именно для надежного полета ей нужны тяжелые крылья и сильная грудь. Так он и сам старался писать свои стихи — земные, прочные, годные для дальних перелетов.

...Я полюбил весомые слова.

Разве это не чувствуется даже в тех немногих строках, что приведены выше? Иногда после занятий университетской литгруппы мы бродили по ночной Москве, обычно вчетвером: Коля Майоров, Виктор Болховитинов, Николай Банников и я. У Коли всегда оказывались в запасе почему-то не прочитанные сегодня на занятии стихи. «Почему? Что же ты молчал?» — «А ну их к черту, это не работа, еще не получилось!» — отвечал он. И он продолжал искать свои весомые слова, которые не сразу даются в руки только сильным поэтам, потому что ощущение «веса» слов у них совсем иное, чем у версификаторов. Он не доверялся чужим гилям и гирькам, и ему невозможно было подсказать строфу или

строку — он с ходу отвергал любые предложения или прямым протестом, или улыбкой, или молчанием. Ему годилось только то, что выковалось в нем самом.

Он полюбил весомые слова, когда было ему около двадцати. А в двадцать три его уже не стало. Он успел сделать сравнительно немного: его литературное наследство — это сто страниц, три тысячи машинописных строк. Но все, что он считал законченным, — настоящее. Он был весь обещание. И не потому только, что природа дала ему талант, а воспитание — трудоспособность. Он очень рано осознал себя поэтом своего поколения — глашатаям того предвоенного поколения, которое приходило к поре начинающейся внутренней зрелости в конце 30-х годов.

Он чувствовал себя тем «шалым трубочом», о котором прекрасно написал в стихотворении «Мы».

Еще меньше, чем на поэта, Николай Майоров был похож на записного героя. Но и героем он стал таким же, как и поэтом, — настоящим. Он умер, как сам предсказал: в бою.

Мальчик, родившийся в девятнадцатом году под Иваново-Вознесенском, погиб совсем еще юнцом в сорок втором под Смоленском. Доброволец-разведчик погиб, не докурив последней папиросы, не дописав последнего стихотворения, не долюбив, не дождавшись книги своих стихов, не окончив университета, не доучившись в Литературном институте, не раскрыв всех возможностей, какие сам в себе прозревал... Все в его жизни осталось незавершенным, кроме нее самой. Но стихи его, сработанные для дальнего полета, продолжают свой рейс: у них сильные крылья — такие, как он хотел.

Уходя, он в своих стихах точно предупредил нас, что останется неотъемлемой частью пережитого нами. Так оно и случилось. Он вошел в разряд незабываемого. И навсегда помнится, что он был.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Б

ыл октябрь 1941 года, один из самых тяжелых для Москвы дней октября — 16 или 17 число.

Немцы наступали где-то у Можайска. Их еще не удавалось остановить. Кое-где над центром города падал странный серый снег, вялый, медленный. Это был пепел. Эвакуируемые учреждения жгли бумаги. Каждый час тысячи людей уходили на запад, на юго-запад, на северо-запад — на фронт. Другие тысячи уходили и уезжали на восток, в эвакуацию.

Вот в такой день на улице Герцена я и встретил, в последний раз в жизни, Колю Майорова.

Какой он был тогда — помню: хмурый, лобастый, неторопливый, с медленной доброй усмешкой на губах.

— А я вот иду в военкомат, записываться в армию.

Постояли мы на улице, на самой важной для нас обеих улице Герцена — больше трех лет проучились мы на ней, через два дома друг от друга. Поговорили о товарищах: кто как и кто где. Торопливо, в двух словах, рассказал я Коле о фронте и о госпитале. И — разошлись, чтобы никогда более не увидеть друг друга.

* * *

В книге Майорова, которая вышла год назад, и в этом сборнике собраны почти все известные мне стихи Коли — последних трех-четырёх лет его жизни. Почти все, но не все.

Я хорошо помню стихи о деревенской гулянке, со строкой:

Я сам любил ходить в такие игры.

Может быть, когда-нибудь вспомнятся, приснятся другие стихи, другие строки, а может быть, и не вспомнятся. Мы, наверное, слушали в те годы друг друга не очень внимательно. Все написанное и читанное казалось притчей. «А сказка будет впереди». Главное еще напишется. У иных так и случилось. А у иных вместо сказки впереди была смерть.

* * *

Я перечитываю стихи Майорова тридцать девятого, сорокового, сорок первого годов. Много вспоминаю, со многим встречаюсь впервые и думаю, что нет, это уже не притча.

Мы никогда не прочтем того, что Коля написал бы о войне, о нашей победе. Но он сказал свое честное и точное слово о том,

что думали и чувствовали люди его поколения за день, за год до войны. О буре истории, ревавшей за окнами наших студенческих общежитий. И о том, как

...были высоки, русоволосы

те, кто шагнул навстречу буре. Победа начинается с решимости ее добиться, с уверенности в правоте нашего дела. Об этой решимости, об этой правоте — всё, что написал Майоров.

